Лев Троцкий

Сталин. Том I

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Т11

Троцкий Л.
Т11 Сталин. Том I / Лев Троцкий – М.: Книга по Требованию, 2012. – 220 с.

ISBN 978-5-458-03459-3

Сколько бы ни издали еще книг об Иосифе Виссарионыче – все они будут вызывать споры и обвинения в необъективности. Такой он был человек (а может, и не человек, нелюдь или монстр?). Однако мемуары Льва Троцкого занимают особое место среди огромного количества книг о Сталине. Прежде всего потому, что, в отличие от других авторов, Лев Давидович много лет знал его лично и был непосредственным участником описываемых событий. Неумолимый и надежный как ледоруб принцип «нет человека – нет проблемы» не позволил Троцкому дописать книгу до конца, но даже то, что удалось опубликовать, вызвало потрясение и у сторонников Сталина, и у е ярых противников. Почему? Да потому, что и те, и другие прекрасно понимают: товарищ Станин все еще с нами!, В первом томе воспоминаний Троцкого описывается период до 1917 года, в который Иосиф Джугашвили-Сталин (он же Коба) прошел большую часть своего кровавого пути к власти.

ISBN 978-5-458-03459-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Лев Троцкий
Сталин. Том 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гораздо большей подробностью, как увидит читатель, останавливался на формировании Сталина в подготовительный период, чем на его политической роли в настоящее время. Факты последнего периода известны каждому грамотному человеку. Критику политики Сталина я давал в разных работах. Цель этой политической биографии – показать, каким образом сформировалась такого рода личность, каким образом она завоевала и получила право на столь исключительную роль. Вот почему [интересны] жизнь и развитие Сталина в тот период, когда о нем никто или почти никто не знал. Автор занимается тщательным анализом отдельных, хотя и мелких, фактов и свидетельских показаний. Наоборот, при переходе к последнему периоду он ограничивается симфизическим изложением, предполагая факты, по крайней мере важнейшие, известными читателю.

Критики, состоящие на службе Кремля, заявят и на этот раз, как они заявляли по поводу «Истории русской революции», что отсутствие библиографических ссылок делает невозможным проверку утверждения автора. На самом деле библиографические ссылки на сотни и тысячи русских газет, журналов, мемуаров, сборников и пр. очень мало дали бы иностранному критику или читателю, а только загромоздили бы текст. Что касается русских критиков, то в их распоряжении есть аппарат государственных архивов и библиотек. Если бы в моих писаниях были бы фактические ошибки, неправильные цитаты, неправильное использование материалов, то на это было бы указано давным-давно. На самом деле я не знаю ни в одной антитроцкистской литературе ни одного указания на неправильное использование мною указанных источников. Этот факт, смею думать, дает серьезную гарантию и иностранному читателю.

В своей «Истории» я всячески устранял элементы мемуаров и опирался только на те данные, которые были опубликованы и потому подлежат проверке, в том числе и на свои собственные показания, которые никем не были оспорены в прошлом. В этой биографии автор считает возможным отступить от этого слишком сурового метода. Главная ткань повествования опирается и здесь на документы, мемуары и другие объективные источники. Но в тех случаях, где ничто не может заменить показания памяти самого автора, я считал себя вправе приводить те или другие эпизоды, личные воспоминания, ясно оговаривая каждый раз, что выступаю в данном случае не только как автор, но и как свидетель.

Автор следовал в этой биографии тому же методу, какому он следовал в своей «Истории русской революции». Многочисленные противники признали, что книга опирается на факты, сгруппированные научным методом. Правда, обозреватель «New York Times» отверг книгу, как пристрастность. Но любая строка его статьи показывает, что он возмущен русской революцией и переносит свое возмущение на ее историка. Это обычная аберрация у всякого рода либеральных субъективистов, находящихся в разладе с ходом классовой борьбы. Недовольные результатом исторического процесса, они осуждают тот научный анализ, который обнаруживает неизбежность этого результата.

Будут ли выводы автора признаны объективными – все или часть их, в конце концов, не так существенно. Гораздо важнее оценка методов. Здесь автор не

опасается критики. Он прошел через работу, опираясь на факты и в полной солидарности с документами. Могут, разумеется, встретиться те или другие частичные, второстепенные погрешности или ошибки. Но чего в этой работе никто не найдет, это недобросовестного отношения к фактам, игнорирования документов или произвольных выводов, основанных только на личных пристрастиях. Автор не оставил в стороне ни одного факта, документа, свидетельства, направленного в пользу героя этой книги. Если внимательное, тщательное и добросовестное собирание фактов, даже мелких эпизодов, проверка свидетельских показаний при помощи приемов исторической и биографической критики, наконец, включение фактов личной жизни и исторического процесса, – если все это не есть объективность, то остается спросить, в чем же собственно она состоит? [Так как] источники сфабрикованы Сталиным, критика источников относится не к технике писания, а к самому существу. Нельзя не подвергая критике детальной всевозрастающей фальсификации подготовить читателя к пониманию таких явлений, как московские процессы.

В известных кругах охотно говорят и пишут о моей ненависти к Сталину, которая внушает мне мрачные суждения и предсказания. Мне остается по этому поводу только пожимать плечами. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств к Гитлеру или к японскому Микадо. Что было личного, давно перегорело. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему.

Прежде, чем стать царем в Израиле, Давид в отрочестве пас овец. Это не подавило в нем богатых духовных дарований, которые нашли себе в красотах природы сильнейший стимул к развитию. Благодаря искусной игре на арфе он был приглашен ко двору, чтобы музыкой разгонять тоску Саула. Исключительная карьера Давида становится более понятной, если принять во внимание, что почти все сыны полукочевого израильского народа пасли овец и что искусство управления людьми было в ту пору немногим сложнее искусства управления стадами. С тех пор, однако, общество сильно дифференцировалось, династии обособились и специализировались, так что когда один из современных нам монархов увлекся, по примеру царя Давида, некой Вирсавией из Бостона и, вследствие парламентских условностей новой эпохи, вынужден был покинуть трон, епископу Кентерберийскому, современному Самуилу, не пришлось искать ему преемника среди пастухов: деликатный вопрос разрешился в порядке династического автоматизма.

Со времени царя Давида человеческая история знала немало ослепительных восхождений, не только в древнем Риме, но и в новой Франции. Дело шло в этих случаях почти исключительно о полководцах. Доказав на поле брани свою способность командовать вооруженными людьми, они тем увереннее повелевали затем безоружными массами. Это относится к Юлию Цезарю, как и к Наполеону. Правда, так называемый Наполеон III совершенно лишен был военных дарований. Но он не был и простым выскочкой, он был или считался племянником своего дяди, над головой его летал прирученный орел; без этой символической

птицы голова принца Луи-Наполеона стоила немного.

Все его инстинкты и чувства перевешивала фантастическая вера в свою звезду и преданность «наполеоновским идеям», бывшими руководящими идеями его жизни. Человек страстный и вместе с тем полный самообладания (по выражению В. Гюго, голландец обуздывал в нем корсиканца), он с юности стремился к одной заветной цели, уверенно и твердо расчищая дорогу к ней и не стесняясь при этом в выборе средств: «Гармония между правительством и народом существует в двух случаях: или народ управляется по воле одного, или один управляется по воле народа. В первом случае это деспотизм, во втором – свобода».

Он нанял пароход, организовал в Лондоне экспедицию и, привлекши на свою сторону нескольких офицеров булонского гарнизона, 6 августа 1840 г. высадился в Булони. Не ограничиваясь костюмом, шляпою и обычными знаками императорского достоинства. Наполеон имел при себе прирученного орла, который, выпущенный в определенный момент, должен был парить над его головою. Но этот момент не наступил, так как вторая попытка окончилась еще плачевнее, чем первая.

Накануне мировой войны даже карьера Наполеона III казалась уже фантастическим отголоском прошлого. Демократия была прочно установлена, по крайней мере в Европе, в Северной Америке и в Австралии. Конституционная механика представительства казалась единственно приемлемой для цивилизованного человечества системой управления. А так как цивилизация продолжала расти и шириться, то будущность демократии казалась несокрушимой. Многие и сейчас еще живут в XIX веке. На самом деле демократия привела к диктатурам.

События в России нанесли первый удар этой исторической концепции. На смену царизму после восьмимесячного интермеццо демократического хаоса пришла диктатура большевиков. Но здесь дело шло об одном из «эпизодов» революции, которая сама казалась лишь продуктом отсталости России, воспроизведение в XX веке тех конвульсий, которые Англия пережила в середине XVII века, а Франция – в конце XVIII. Ленин представлялся московским Кромвелем или Робеспьером. Новое явление можно было, по крайней мере, классифицировать, и в этом заключалось утешение. Вера в незыблемость законов либеральной демократии продолжала оставаться почти незатронутой.

Для Муссолини, как через 11 лет для Гитлера, не так легко было найти историческую аналогию. В цивилизованных странах, прошедших через длительную школу представительной системы, к власти поднялись таинственные незнакомцы, которые в юности занимались почти столь же скромной работой, как Давид или Исаия. За ними не числилось никаких воинских подвигов. Они не возвестили миру никакой новой идеи. За их спиной не стояла тень великого предка в треуголке. Римская волчица не была прабабушкой Муссолини. Свастика не есть фамильный герб Гитлеров, а только плагиат у египтян и индусов. Либерально-демократическая мысль стоит беспомощно перед загадкой фашизма. Но ни Муссолини, ни Гитлер не похожи на гениев. Чем же объясняется их головокружительный успех?

Мелкая буржуазия в нынешнюю эпоху вообще не может выдвинуть ни оригинальных идей, ни самостоятельных вождей. У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражательно. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал большевикам и Муссолини. Таким образом, вожди мелкой

буржуазии, зависимые от крупного капитала, являются по самому типу своему вождями второго класса, как мелкая буржуазия, глядеть ли на нее сверху или снизу, занимает всегда второе место. Однако в рамках исторических возможностей Муссолини проявил огромную инициативу, изворотливость, цепкость, изобретательство.

Муссолини и Гитлер начали свою борьбу в условиях демократии. Они сталкивались лицом к лицу с противниками. Они спорили на равных правах. Ничего подобного не было в истории восхождения Сталина. Муссолини – это непрерывная импровизация на открытой арене. Муссолини и его сподвижники подражали большевикам, хотя и в прямо противоположном направлении.

Гитлер всегда говорит о своей гениальности. Сталин заставляет об этом говорить других. Сталин, как и Гитлер, как и Муссолини являются по своей нравственной природе *циниками*. Они видят людей с их низшей стороны. В этом их реализм. У Гитлера черты мономании и мессионизма. У Муссолини ничего, кроме циничного эгоизма. Личная обида играла большую роль в развитии Гитлера, как и Муссолини. Гитлер оказался деклассирован. Евреи равнялись социал-демократам. Гитлер хотел подняться выше на этом пути, создал себе *теорию* и ее держался.

Гитлер особенно настаивает на том, что только живое устное слово характеризует вождя. Никогда, по его словам, статья не может повлиять на массы так, как речь. Во всяком случае, не может создать постоянной живой связи между вождем и его миллионами последователей. Суждение Гитлера определяется, вероятно, в значительной мере тем, что он не умеет писать. Маркс и Энгельс приобрели миллионы последователей, не прибегая за всю свою жизнь к ораторскому искусству. Правда, им для приобретения влияния понадобились многие годы. Искусство писателя, в конце концов, выше, ибо оно позволяет соединять глубину с высокой формой. Те политические деятели, которые были только ораторами, отличались всегда поверхностностью. Оратор не создает писателей. Наоборот, великий писатель может вдохновить тысячи ораторов. Но верно то, что для непосредственной связи с массой необходима живая речь.

Новое время принесло новую политическую мораль. Но, странное дело, красный ветер возвращает нас во многих отношениях к эпохе Возрождения, или даже далеко превосходит ее по масштабу своих жестокостей и зверств. Объявляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает грандиозный характер. Уже при дворе римских императоров эпохи упадка были специалисты по ядам разного типа, яды, которые убивают на месте, убивают медленно или которые лишают рассудка, не ускоряя смерти. Агриппина, мать Нерона, пользовалась услугами Локусты, женщины весьма искушенной в отравлении. Ее услуги для поддержания порядка были так велики, что ее называли инструментом Рекни, т. е. орудием власти. Евнух по имени Халотус подавал гостям отравленные ею блюда и тут же пробовал их. Доверие при римском дворе не было очень высоко, как и в нынешнем Кремле. Предусмотрительная Агриппина сумела заручиться соучастием придворного врача Ксенофона, этот врач по особому понимал свои обязанности: чтоб вызвать у императора Клавдия, мужа Агриппины и отчима Нерона, рвоту, он ввел ему в горло перышко, смоченное ядом.

«Хроники 15-го столетия, – говорит благочестивый историк пап, Пастор, – полны необыкновенных появлений и атмосферических возмущений, плохих

урожаев, землетрясений и эпидемий». Как и в эпоху Возрождения, жизнь вовсе не окрашена одной краской измен и коварства, отравлений и подлогов. Что характеризовало эпоху Возрождения, это резкие контрасты «во всех областях хорошее и плохое оказывались чрезвычайно спутанными в итальянских государствах 15-го столетия». Эпоха Возрождения характеризовалась исключительным развитием индивидуализма, но число индивидов, которые могли позволять себе индивидуализм, было ограничено и часто сводилось к одному лицу.

Эпоха Возрождения – 15-е столетие, точнее сказать, вторая половина 15-го столетия и начало 16-го. Когда во всех областях жизни происходили и обнаруживались глубокие изменения, старые нормы отношений и, тем самым, нормы морали изжили себя. Новые нормы еще не установились. «Как раз во второй половине 15-го столетия внимательному наблюдателю открывается ужасающая коррупция в политических отношениях Италии… Искусство управления выродило систему клятвопреступлений и измен, согласно которой считалось наивностью и глупостью выполнение договоров; со всех сторон приходилось бояться хитрости и насилия, подозрительность и недоверие отравляли отношения между главами государств» (Пастор, «История пап»). Эту разрушительную систему усвоили себе великие сеньоры этой эпохи: Франциск и Людовик Сфорта, Лоренцо Медичи, Александр VI (Борджиа), Цезарь Борджиа и другие. В военной области этот век был временем авантюристов-полководцев, называвшихся кондотьерами. Пастор пишет: «С ужасом выступало сатанинское злорадство Ерранте, который смеялся от удовольствия, потирая свои руки, когда думал о хорошо охраняемых в его тюрьмах пленниках, которых он оставлял в томительной неизвестности относительно предстоявшей им судьбы». Это было в Риме, когда кардиналы писали порнографические комедии, а папы ставили их при своем дворе. «Бесстыдным являлся также способ, в каком государство пользовалось убийством, которое было особенно в Венеции излюбленным методом избавления от врагов, как внешних, так и внутренних. Решение насчет убийств обсуждались и постановлялись в заседаниях правительственных советов». Фонтано писал: «В Италии ничто не имеет меньшей цены, чем человеческая жизнь».

«Из этих условий вырастали зловещие фигуры, которые соединяли с самой изысканной культурой преступную дерзость, злобную хитрость и презрение ко всем моральным законам. Люди, типом которых является Николай Макиавелли» (Пастор). Официальная средневековая мораль покорности и смирения сменилась честолюбием и славолюбием. «Неограниченный индивидуализм, которому столь сильно благоприятствовало ложное Возрождение, породил кроме славолюбия много других гибельных пороков, именно: расточительность, роскошь, игру (азарт), жажду мести, ложь и подлог, безнравственность, преступление и человекоубийства, религиозные безразличия, неверие и суеверие» (Пастор). К числу этих отталкивающих характеров Пастор относит Сигизмунда Малатеста и, до известной степени, Цезаря Борджиа. «Ужасная безнравственность семьи Борджиа ни в каком случае не была изолированным явлением; почти все дворяне Италии жили подобным же образом… Домашние жестокости, казалось, не имели конца… Законные и незаконные принцы бежали, покидали двор, но и в других странах они находились под угрозой специально подосланных убийц».

Цезарь Борджиа: авантюрист, полководец, государственный человек, кардинал-расстрига, сын римского папы. В борьбе с другими авантюристами-кондо-

тьерами Цезарь Борджиа выходил в большинстве случаев победителем. «Но, – говорит Британская энциклопедия, – он не был несомненно гениальным человеком, как в течение многого времени воображали, и его успехи были обязаны, главным образом, поддержке папского престола; как только его отец умер, его карьера пришла к концу и он не мог больше играть видной роли в делах Италии. Его падение показывает, на каком нездоровом фундаменте была воздвигнута его система».

Многое из того, что приписывали Цезарю Борджиа и его сестре Лукреции, несомненно или почти несомненно ложно. Имена их до известной степени стали собирательными. Но, разумеется, народная молва, как и догадки хронистов и историков, не случайно приписывали преступления именно этим людям. Когда незримая Лукреция Борджиа отравляет за ужином своих врагов и появляется к моменту их смерти, она говорит у Гюго: «Вы не ожидали этого, черт возьми, мне кажется, что я отомщаю, что вы скажете на это, господа? Кто из вас понимает людей мести? Ведь это не плохо, я думаю! А, что вы думаете об этом для женщины!»

Цезарь Борджиа, несмотря на то, что имя его сделалось синонимом вероломства и кровожадной жестокости, не может считаться чудовищным исключением в среде феодальных властителей XV столетия не только одной Италии, но и Европы вообще. «Каждый понимает, – говорит Макиавелли, давший идеальный портрет Цезаря Борджиа в своем знаменитом произведении „О государстве“, – сколь похвально для государства сохранять верность, действовать правдиво, без коварства, но опыт нашего времени убеждает нас, что только тем государям удается совершать великие дела, которые не хранят своего слова, которые умеют обмануть других и победить доверившихся их „честности“. Но никто не обнаружил такую неумолимую последовательность и стойкость в достижении своих целей, такое полное отсутствие совести и безразличие к злодеяниям вместе с демонским сознанием своего превосходства и призвания властвовать, как Цезарь Борджиа».

Сопоставление с Борджиа и другими фигурами Возрождения надо все-таки ограничить. Борджиа, Борза, Медичи были яркими личностями, в которых сочетались противоречия: честолюбие и беззаботность, легкомыслие и беспощадность, свирепость и великодушие. На всем Ренессансе лежат редкие черты. Это был период пробуждения новой индивидуальности в слое молодой буржуазной интеллигенции и бюрократии. С того времени много воды утекло. Буржуазное общество постарело. Оно прошло через период массовых организаций, связанных внутренней дисциплиной.

Чтоб быть похожим на сверхчеловека эпохи Возрождения, Сталину не хватает красок, личности, размаха, соображения, капризного великодушия. В ранней молодости, после того как он оказался вынужден покинуть семинарию за неуспешность, он одно время служил в тифлисской обсерватории бухгалтером. Хорошо ли он вел приходно-расходные книги обсерватории, осталось неизвестным. Но бухгалтерский расчет он внес в политику и в свои отношения к людям. Его честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому расчету. Люди Возрождения были дерзки, Сталин – осторожен. Он долго носит свою ненависть, пока она не превращается в отстой. Его месть имеет гигантский размах потому, что он стоит не на земле, а наверху самого грандиозного из всех аппаратов.

Аппаратом же Сталин овладел, так как был неизменно верен ему. Он изменял партии, государству, программе, но не бюрократии.

Николай Макиавелли – самый гениальный представитель ложного Возрождения, по словам Пастора. «Опыт показывает, – писал Макиавелли, – что великие дела совершают те, которые умеют подчинять себе людей посредством хитрости или насилия… Когда дело идет о спасении отечества, нельзя обращать внимания ни на какие трудности и на то, справедливо ли это или несправедливо, гуманно или жестоко, похвально, заслуживает порицания, но, оставляя в стороне все другие критерии, надо прибегать исключительно к тому средству, которое может спасти жизнь и сохранить свободу отечества». Именно в переходные эпохи, когда надо ломать старое и строить новое, государственная власть обнаруживает всю свою силу. Взгляд на государство, как на массивного третейского судью, который вмешивается, когда его об этом просят, кажется в такие эпохи смешным и ничтожным. Государство достигает высшей степени напряжения и становится ироническим, разрушает и строит. Именно этот взгляд на государство был у Макиавелли.

Законы политической механики, которые формулировал Макиавелли, в течение долгого времени считались выражением предельного цинизма. Макиавелли рассматривает задачи борьбы за власть как шахматную теорему. Вопросы морали не существуют для него, как они не существуют для шахматиста, как они не существуют для бухгалтера, задача которого состоит в том, чтобы сделать наиболее целесообразное в данном положении.

Италия 15-го столетия была передовой страной капитализма. Мелкие итальянские государства в то время были детскими башмаками молодого капитализма. Государства терлись друг о друга, как камни в тесном мешке. Принцы, герцоги и короли постоянно боролись, интриговали и меняли границы своих государств. Нынешняя Европа, Европа капиталистического заката, во многом напоминает Италию капиталистического детства, только масштабы неизмеримо более велики.

Римские преторианцы, стоявшие над народом и, в известном смысле над государством, нуждались в императоре, как в высшем судье, так и бюрократия, ставшая над народом и Советами, нуждалась в вожде. За пожар Рима, который приписывали злой воле самого Нерона, отвечали христиане, которые вообще были козлами отпущения за все бедствия его царствования. Роль козла отпущения, которую у Нерона играли христиане, а у Гитлера играют евреи, у Сталина выполняют так называемые троцкисты. Власть Сталина представляет собою современную форму цезаризма. Она является почти незамаскированной монархией, только без короны и пока без наследственности. В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, видя себя вынужденным отдаться под власть Москвы. В начале XX века маленькая Грузия навязала Москве своего собственного царя.

В течение XIX века, который был веком парламентаризма, либерализма и социальных реформ (если закрыть глаза на войны и на гражданские войны), Макиавелли считался давно позади. Честолюбие было введено в парламентские рамки и, вместе с тем, – разграблено. Дело шло уже не о том, чтоб захватить власть одному лицу полностью и целиком, а о том, чтоб захватить мандаты в избирательном округе, портфель министерский. Макиавелли казался идеологом

далекого прошлого. Новое время принесло новую, более высокую политическую мораль.

Но, поразительное дело, XX век возвращает нас во многих отношениях к методам эпохи Возрождения и даже далеко превосходит их по масштабу своих жестокостей и зверств. Появляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает личный характер и грандиозный масштаб. Принципы Макиавелли, которые всегда, даже в период процветания либерализма и реформ, составляли основу политической механики, получают теперь снова открытое и циничное выражение. Этот рецидив наиболее жестокого макиавеллизма кажется непонятным тому, кто до вчерашнего дня исходил из уверенности, что человеческая история движется по восходящей линии материального и культурного прогресса. Но мы можем сказать теперь: ни одна эпоха прошлого не была так жестока, беспощадна, цинична, как наша эпоха. Политическая мораль вовсе не поднялась по сравнению с эпохой Возрождения или с другими, еще более отдаленными эпохами.

Эпоха Возрождения была эпохой борьбы двух миров; социальные антагонизмы достигли крайнего напряжения. Отсюда напряжение политической борьбы, которая не допускала роскоши прикрываться или ограничивать себя моральными принципами… Во второй половине XIX века политическая мораль так высоко поднялась над материализмом, или воображением господ-политиков, только потому, что социальные антагонизмы на время смягчились, политическая борьба разменялась на мелкую монету, а основой этого был рост благосостояния и некоторые улучшения положения верхов трудящихся. Наш период, наша эпоха, похожа на эпоху Возрождения в том смысле, что мы живем на грани двух миров: буржуазного, капиталистического, который переживает агонию, и того нового мира, который идет ему на смену. Социальные противоречия снова достигли исключительной остроты. Политическая борьба сконцентрировалась и не может позволить себе роскоши прикрываться правилами морали.

Политическая власть, как и мораль, вовсе не совершенствуется непрерывно, как думали в конце прошлого и в первое десятилетие нынешнего столетия. Политика и мораль имеют в высшей степени сложную и противоречивую орбиту. Политика, как и мораль, находится в прямой зависимости от классовой борьбы; как общее правило, можно сказать, что чем острее и напряжение классовая борьба, чем глубже социальный кризис, – тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированнее и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали.

Некоторые из моих друзей обращали мое внимание на то, что слишком большое место в моей работе занимают ссылки на источники и критика источников. Я отдавал и отдаю себе ясный отчет в неудобствах такого метода изложения. Но у меня не оставалось выбора. Никто не обязан верить автору, столь близко заинтересованному, столь непосредственно участвующему в борьбе с тем лицом, биографию которого он оказался вынужденным писать. Наша эпоха есть эпоха лжи, по преимуществу. Я не хочу этим сказать, что другие эпохи человечества отличались большей справедливостью. Ложь вытекает из противоречий, из борьбы, из столкновения классов, из подавления личности обществом; в этом смысле она составляла аккомпанемент всей человеческой истории. Но бывают периоды, когда социальные противоречия принимают исключительную остроту,